

вешей, они никогда ничего не уступали, а приобрели вместе с строгими нравами железную волю. Из этой среды, естественно, выйдут действительные представители народных стремлений...». Особенно много места пропаганде среди старообрядцев уделяло «Общее Вече» Огарева.

³² Подобные отзывы о высшем духовенстве и синоде см. в статье Огарева «Что надо делать духовенству», в 5 листе «Общего Веча», от 22 октября 1862 г.

³³ О характере пропаганды среди солдат, которая велась в начале 1860-х гг., можно судить по книжечке «Солдатские песни», напечатанной в «Вольной русской типографии» в 1862 г.

³⁴ Совершенно такие же меры предлагались в статье «Что надо делать войску», написанной Огаревым совместно с Н. Н. Обручевым и Н. А. Серно-Соловьевичем и напечатанной впервые в 111 листе «Колокола», от 8 ноября н. ст. 1861 г., в статье Огарева «Тысячелетие России» в № 4 «Общего Веча» за 1862 г. и в прокламации Огарева к солдатам 1863 г. (перепечатана в XVI т. сочинений Герцена, стр. 38—40).

³⁵ Печатается по экземпляру собрания Института Маркса — Энгельса — Ленина: обл., 24 стр., 10 × 7 см. На обложке крест и ложное обозначение места печати: «Москва. Печатано в типографии А. Иванова. 1863». На последней странице обложки помета «Одобрено цензурою. Москва 4 мая 1863 года».

³⁶ Приведенные ниже стихотворения печатаются по сборнику «Свободные русские песни», по экземпляру собрания Всесоюзной библиотеки им. Ленина (обл., 2 ввод. л., 89 + (2) стр.). На первой странице обложки ложное обозначение: «Кронштадт, тип. главной брандвахты, 1863», на последней странице обложки: «Дозволено цензурою. С.-Петербург, 3 мая 1863 года». Сборник имеет следующее предисловие:

«Из песни слова не выкинешь».

«Составляя предлагаемый песенник, мы имели в виду соединить в нем песни наиболее знакомые, наиболее любимые и чаще других раздающиеся в русских свободных кружках. Песни наших славных декабристов пелись на Руси не одним поколением: с них мы и начинаем наш скромный сборник. Само собой, что помещаемые здесь песни не все одинакового достоинства в литературном отношении; но во всех них, более или менее, слышится один и тот же мотив наиболее русского сердца и глубокой вражды к рабству.

Память о тех часах, в которые мы сами вслушивались в эти песни и пели их в среде молодого и старого поколения, дружно настроенных одною заветною для всех мыслью, дает нам право надеяться на добрый прием этого первого на Руси свободного песенника.

Мы же вместе с ним шлем и наш сердечный привет как нашим личным, так и всем друзьям русской свободы.

Издатели».

IV. К БИОГРАФИИ И. И. КЕЛЬСИЕВА

Публикация И. Зверева

В литературе имеется очень мало сведений об И. И. Кельсиеве — молодом энтузиасте-революционере, участнике студенческих волнений 1861 г. в Москве, который так рано погиб от тифа в знаменитой Тульче. В частности, до нас почти совершенно не дошло его писем... Тем больший интерес представляет печатаемое ниже его обстоятельное письмо к графине Е. В. Салиас, содержащее подробный рассказ об его тюремных скитаниях 1862—1863 гг. и о побеге из Пречистенского арестного дома в Москве. С гр. Салиас И. И. Кельсиев был хорошо знаком. Ее сына, Евгения Андреевича, своего товарища по Московскому университету, Кельсиев считал своим «самым близким товарищем» и часто бывал в доме Салиас, который в дни студенческих волнений 1861 г. был штаб-квартирой студенческой радикальной молодежи. Поэтому, неудивительно, что немедленно же после появления в «Колоколе» сообщения относительно побега И. И. Кельсиева и прибытия его за границу, Е. В. Салиас сделала попытку вступить с ним в переписку. Ее письмо было послано через редакцию «Колокола», и довольно долго задержалось в пути. Как видно из писем Огарева к Салиас, Огарев одно время опасался, что это письмо было вообще затеряно и приносил за это свои извинения. Но вскоре затем выяснилось, что оно было отправлено по назначению — вернее всего с женою В. И. Кельсиева, которая около этого времени выехала из Лондона в Константинополь. Во всяком случае, — как видно из тех же писем Огарева к Салиас, — печатаемое письмо Кельсиева дошло по назначению в начале октября 1863 г. и, следовательно, относится к самым первым месяцам пребывания Кельсиева за границей. Имела ли эта переписка продолжение — установить не удается: среди той части архива гр. Е. В. Салиас, которая теперь хранится в знаменитом Рапперсвильском собрании (куда она передана Коссиловским), других писем И. И. Кельсиева не имеется, но эта часть архива вообще далеко не полна. Во всяком случае хорошее отношение к Салиасам

И. И. Кельсиев сохранил до самой своей смерти. Его брат, — известный эмигрант того времени В. И. Кельсиев, — после его смерти писал Е. В. Салиас: «...вот где пришлось слечь моему брату. Известите его товарищей об его смерти и пожмите за него руку Вашему сыну. Покойный много и часто поминал об Вас и об нем».

ПИСЬМО И. И. КЕЛЬСИЕВА Е. В. САЛИАС

Письмо Ваше, добрый друг мой, — неправда ли Вы позволите мне назвать Вас так? — несказанно меня обрадовало. С тех пор как меня похитили из Москвы, я не получал ни разу положительных известий от Вас, разве только что-нибудь стороной доходило. Писем, о которых Вы пишете, я не получал; сам я писал к Вам из Верхотурья¹ не один раз, но и мои письма, по всей вероятности, не дошли. Последнее, недоконченное письмо к Вам, взято было при вторичном моем похищении и разделено со мной следствие и суд. Впрочем, для Вас в нем не было ничего предосудительного. Потом я писал к вам из московских сибирок, и это письмо, кажется, дошло.

Я был в крепости четыре месяца, в сибирках — шесть. Бежать я решил уже очень давно, еще тогда, когда был в Верхотурье. Я видел ясно, что мне ничего не остается делать в России в том роде, который я избрал для своей деятельности. Но я ждал, что в сентябре будет дана амнистия и это обстоятельство удерживало меня. 8 сентября пришлось мне встретить в Петропавловской крепости: пушки ревели нещадно над самой головой моей, но амнистии никакой не было². Следовательно, нужно было подобру-поздорову убраться. При приезде в Москву, я тотчас же стал собираться, но образование Центр[ального] Ком[итета]³ остановило меня. Мне стало думать, что я буду и в ссылке, которая мне предостояла, нужен для дела, так как провинциальные агенты — главная потребность и главная сила Ком[итета]. Я было и успокоился на этой мысли, но потом меня раздумье взяло: От Назарета придет ли нечто доброе — что нам в Верхотурье и что Верхотурью до нас! Если бы мне удалось и весь Верхотурский уезд озарить светом истины, то все же по отдаленности и малолюдности его в том проку большого не было бы, а за границей все же пропасть чего можно сделать. Таким образом, я снова решился бежать и попросил, чтобы мне принесли напильник, что и было исполнено. Я работал в течение двух недель, потому что решетка была очень толста, а коридор, в котором находилось назначенное мною для бегства окно, такой гулкий, что нужно было делать дело с большой осторожностью. Тут же сидел один поляк; я и его подговорил бежать, но он был заперт и потому вся помощь его заключалась только в том, что он караулил. Ночью я пилил до изнеможения, потому что от беспокойства и волнения усталость приходит очень скоро, на день же я замазывал прорез замазкой, выкрашенной чернилами и сажей. Когда работа пришла к концу, и я почувствовал, что решетка свалится при первом толчке, я оповестил своих друзей и назначил им ночь, в которую они должны были ждать меня. Но под вечер пришли полицейские и взяли поляка. Я не успел переговорить с ним и едва имел времени, чтобы сунуть ему в руку напильник. Бегство пришлось отложить на несколько дней. В тот же самый день, который я вторично назначил, около ночи, этот поляк был пойман в Тверской части, куда его перевели, за работой над решеткой. Случай, разумеется, выручил меня: если бы я еще на один день отложил свое бегство, то на утро и ко мне нагрянули бы гости, обыскали бы, осмотрели и все бы нашли; а я, очень естественно, ничего не знал о неудаче моего сотрудника. Отсрочка же очень легко могла произойти, потому что в ночь, когда я был намерен выбраться из тюремного карцера, — тюремщик как на зло не улегся до полуночи. С час времени он не мог



Михаил Акут
получил и проче
ссылкою друга своего
Е. Салиас.
Менше,
1865 год
Акут

Е. В. САЛИАС

Фотография с дарственной надписью Лизе Герцен, 1865 г.
Литературный музей, Москва

заснуть, ворочался, вставал, кошку какую-то гонял и т. д.; а я сидел в номере, который приходился как раз у окна, назначенного для бегства, и мне решительно каждое движение его было превосходно слышно. Наконец, он успокоился. Тогда началась какая-то суматоха на дворе, забегали вдруг с фонарями, искали чего-то, кричали так, что я боялся, чтобы тюремщик не проснулся. Около двух часов ночи все успокоилось. Тогда я встал, оделся, отвязал полку с книгами, взял веревку, на которой эта полка висела, и вышел из комнаты; все это приходилось делать в темноте, спотыкаясь и натываясь ежеминутно, тогда как не только шум падающих вещей, но даже и собственное дыхание, по невообразимой гулкости коридора, невольно пугает. В окне пришлось выставить два стекла и выломать одну перекладину из ставни. Когда я сделал это, то принялся за решетку, оказалось, что только после долгих усилий мне удалось погнуть подпиленный железный брус. Но можете представить мой ужас: я не был в состоянии ни выпрямить его, ни гнуть дальше! Между тем начало светать и уже все можно было видеть. С полчаса я думаю я бился над решеткой, задыхаясь от усталости и напряжения. Однако упрямый брус поддался и начал гнуться, сначала туго, потом слабее, слабее, потом зашатался как маятник и, наконец, оторвался. Я навязал веревку и спустил ее, потом надел сапоги и стал у окна в ожидании. Вы знаете московских «трешеток», один из них каждую ночь прогуливался около сибирок, и я ждал теперь, когда он зайдет за дом, и я с окном останусь у него за спиной. Но пришлось ждать с полчаса, а он пропал куда-то и не показывался. У меня наконец лопнуло терпение, потому что оставалось несколько минут до четырех часов и было светло как днем (это было 25-го мая). Я пролез до половины в отверстие и почувствовал, что завяз. Повиснув над вышиной в три сажени, я начал барахтаться, сился повернуться. Наконец удалось. Вышел я на другую сторону окна, попробовал, крепка ли веревка, взялся за нее руками и с богом. Только сил ли у меня не хватило или веревка была очень тонка, но руки мои соскользнули по веревке и я ударился ногами прямо на подоконник окна нижнего этажа. Руки ободрались жестоко; но тут было не до рук. Я соскочил вниз, оглянулся и скорей за сарай, через забор и очутился на чужом дворе. Дом на этом дворе только что строился, и забор, отделявший его от улицы, был сложен на живую руку, какой-то господин, шедший в это время на улице, остановился и стал смотреть в щели. Что тут делать! Я принял серьезный вид и стал расхаживать по двору, словно хозяин, осматривающий строение. Господин посмотрел, посмотрел и ушел. Я тотчас к забору, — ворота-то боюсь отворить. Забор еле-еле держится, — полезть на него — разлетится; не думая долго выломал в нем нижнюю доску и вылез, словно из подворотни. Едва только я отошел шагов с десять, как за мной затрещала трешетка: оказалось, что сторож шел не с той стороны, с которой я его ждал. Ни мало не смущаясь я пошел своей дорогой спокойно и тихо, пока не завернул за угол, откуда я уже пустился бегом и бежал, пока не добежал до первого извозчика. Извозчик довез меня благополучно до квартиры, назначенной мне заранее. Я взошел на двор, но не зная к кому обратиться и не желая подымать со сна весь дом, стал ходить по двору, в ожидании, что кто-нибудь проснется. Через несколько времени открылось окно и какой-то господин, спросил у меня, кого мне нужно. Я назвал имя. «Это я самый» — отвечал он мне. «В таком случае, потрудитесь открыть мне двери». Тот улыбнулся, затворил окно, сбегал по лестнице и впустил меня к себе. Здесь меня вымыли, выстригли, обрили, волосы окрасили в черную краску и облекли меня в офицерский мундир.

Затем, в течение двух недель, пока был справлен пас[порт], меня

передавали по Москве с рук на руки. В эти две недели я только один раз рисковал быть пойманным: переодетый квартальный долго разгуливал на улице и смотрел к нам в окно, он очень хорошо видел меня, но, вероятно, не узнал, так как я и сам себя не узнавал в то время; когда же он отошел, то я незаметно выскользнул из ворот дома и переехал на другой конец Москвы. Чтобы отвести глаза глупой московской полиции, я написал маленькую записку гр. Крейцу⁴ о вещах, которые остались от меня в тюрьме, и попросил одного приятеля своего отправить ее из Петербурга. Полиция бросилась искать меня в Петербурге, а я 8 июня выехал преспокойно в мальпосте в Ярославль, а оттуда пустился по Волге, радуясь своему успеху и глубоко горя об обстоятельствах, оторвавших меня почти от всего, что мне было дорого...

2-го июля (по старому стилю) я прибыл в Константинополь. Брата своего я нашел здесь совершенно случайно: я думал, что он в Лондоне и ехал в Лондон. В гостинице я случайно услышал его имя, обратился с расспросами, навел справки, целый день разыскивал его квартиру, и к вечеру снова увидел его, после шестилетней разлуки. Тогда я поселился к Константинополе и живу до сих пор в нем, это изо всех городов препротивнейший город, и я охотно променял бы его на Лондон, если бы только не приковывали нас здесь дела. Жена брата приехала сюда недавно из Лондона и теперь мы живем здесь втроем, не имея ни одной живой души в этом Константинополе, который сделался ненавистен мне, как бог знает что.

Вот вам краткий рассказ моего избавления. Я бежал при помощи денежной Центр[ального] Ком[итета], а прятался в Москве у старых студентов, которых Евгений Андреевич [Салиас] знает и которые соединены с Ц[ентральным] К[омитетом]. Делает Ком[итет], по моему мнению, очень мало, однако дело все-таки идет. Отсюда я много хлопотал и хлопочу о том, чтобы Комитет энергичнее принялся за работу. Я писал не раз об этом в Лондон, и недавно еще послал длиннейшее послание Комитету, в котором излагаю все, что он не делает, и все, что он может делать. Комитетом я не доволен, как вообще множество членов Земли и Воли недовольны им; но я сознаю, что нужно поддерживать Комитет до последней минуты. Теперь плохо, а еще хуже будет без Комитета: его падение и нас ослабит, и придаст силу нашим врагам.

Вы спрашиваете — имею ли веру в будущее. Могу ли я не иметь ее? Разве не ш е таково, что может упасть? Я не видел примера, когда бы истина падала, во всей истории такого примера нет. Это падение может быть только временное, но навеки падает только не стоящее жизни, а жизни не стоит — ложь, истина же стоит жизни. Если бы истина была в плоти, то можно было отрубить ей голову и все было бы кончено; но истина ускользнула от всякой казни, нечем вытравить ее из людского мозга и одно средство избавиться от нее — это истребить все человечество. Омар бессилен в наш век, ибо александрийской библиотеки больше не существует, т. е. и существует, пожалуй, но уже не как библиотека, а как все люди вообще. Для того, чтобы заставить людей позабыть истину, нужно доказать, что истина есть ложь; вы же верите, что истина и ложь не одно и то же, что есть истина и есть ложь, следовательно, для вас и сомнения быть не может: никто не может доказать, что то, что мы говорим, есть ложь. Можно забросать доказательствами, можно ослепить, но не о п р о в е р ж и м о доказать, ведь, нельзя же. Поэтому, ясно, что хотя и забыто теперь многое из того, что говорили прежде, но это только временное зло, так как логика истины сильнее логики лжи, и истина не может быть навсегда закована ложными доказательствами; рано или поздно она прорвется, и все снова прозрят. Вот, что я думаю о будущем. Для меня, вообще, вера

в истину неразрывна с верой в будущность, с верой в осуществление истины; и здравый смысл, и история убеждают меня в том, что я прав.

Что же касается до вопроса: не все ли у нас татары и дикие орды? — Я отвечаю: почти все. Малые исключения есть, но что же бывает без исключений! Только для меня это многого не говорит: понимание той среды, в которой мы живем, для меня — точка исхода, первая причина, которая толкает меня на дело, и споткнуться, остановиться на этом понимании я не могу: если бы я не знал, я бы не шел. Оттого что я знаю это, — я иду, но не останавливаюсь. Если бы общество было хорошо, и правительство не было бы дурно. Вопрос не в перемене правительства, а в изменении общества, правительство же только продукт, оно по массе: на воре и шапка горит. Выиграем ли, не выиграем ли мы свое дело в течение жизни, это все равно, т. е. оно очень грустно, если не увидят мои очи моего спасения, только руки-то опустить от этого не след: ведь, делать-то больше нечего, жить нельзя — ну и идешь бороться...

До свиданья, добрый друг мой. Пишите ко мне, пожалуйста, подробнее, где и как Вы живете. Где теперь Евгений Андреевич [Салиас]? Когда он напишет мне? Надолго ли Вы за границей и давно ли? Вы мне ничего не написали из вещей лично Вас касающихся. Извините, что я не пишу, как живу я в Константинополе. Вы видите, письмо и так очень длинно вышло. Пока я скажу только то, что я очень занят, пишу день и ночь, скоро, может быть, поеду на бессарабскую границу недели на две, на три. Очень хотелось бы мне побывать в Лондоне, но для меня это немислимо в настоящее время. Письмо ко мне адресуйте: Constantinople. Pera. Petitchamp. No. 68 Jean Janu. Если можно, то лучше всего пересылать по английской почте, через Марсель, впредь до востребования. Пишите же ко мне.

Крепко жму Вашу руку

Иван Кельсиев.

P. S. На то, что Вы спрашиваете об [Н. И.] Утине, не умею дать Вам никакого ответа, но уверен, что в том, что напечатано в Колоколе, нет ничего невероятного⁵. Евгению Андреевичу передайте мой дружеский привет. Пришлите мне, пожалуйста, Ваши карточки, я очень прошу Вас об этом. Карточка Евгения Андреевича осталась в III Отделении, как и все, что было взято на моей квартире.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В Верхотурье, Пермской губ., И. И. Кельсиев был сослан за участие в студенческих волнениях 1861 г.; постановление об этой высылке состоялось 6 февраля 1862 г. Уже 30 июля того же года Кельсиев был арестован и отправлен для расследования его прикосновенности к революционной пропаганде сначала в Петропавловскую крепость, затем в Москву.

² 8 сентября 1862 г. состоялось открытие памятника тысячелетия Руси.

³ Речь идет о Центральном Комитете общества «Земля и Воля».

⁴ Московский обер-полицеймейстер тех лет.

⁵ В «Колоколе», л. 169, было напечатано письмо Утина с благодарностью Центральному Комитету общества «Земля и Воля» за помощь, оказанную ему в деле организации побега из России. «Прибыв наконец в Англию, считаю первым и главным своим делом уведомить печатно Комитет Общества «Земля и Воля» об успешном исходе моего путешествия, длившегося так долго вследствие моей случайной тяжелой болезни», — писал Утин. «Благодарю публично Комитет за своевременное предупреждение меня о грозившей мне гибели; благодарю за снабжение меня всем нужным для выхода из России; за средства, как денежные, так и все другие; за пути, которые были мне указаны».

Вопросы Е. В. Салиас, повидному, были связаны именно с этим письмом.